

Валерий Брюсов

# Гипербола и фантастика у Гоголя



Валерий Яковлевич Брюсов

# Гипербола и фантастика у Гоголя

«Чтение моего доклада на торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Москве 27 апреля вызвало, как известно, резкие протесты части слушателей. В те самые дни, когда целый ряд ораторов в целом ряде речей напоминал о том, как в свое время была освистана „Женитьба“, – свистки не показались мне достаточно веским аргументом. На другой день газеты, отнесшиеся ко мне (к моему удивлению) более снисходительно, чем большая публика, настаивали на том, что моя речь, хотя и была „оригинальной“, была неуместной в дни юбилея. Не могу согласиться и с таким мнением...»

# Содержание

Предисловие к I изданию . . . . .	0005
Испепеленный К характеристике Гоголя . . .	0009

# Валерий Брюсов Гипербола и фантастика у Гоголя

*Из доклада «Испепеленный», прочитанного на торжественном заседании Общества любителей российской словесности 27 апреля 1909 г.*

# Предисловие к I изданию

Чтение моего доклада на торжественном заседании Общества любителей российской словесности в Москве 27 апреля вызвало, как известно, резкие протесты части слушателей. В те самые дни, когда целый ряд ораторов в целом ряде речей напоминал о том, как в свое время была освистана «Женитьба», – свистки не показались мне достаточно веским аргументом. На другой день газеты, отнесшиеся ко мне (к моему удивлению) более снисходительно, чем большая публика, настаивали на том, что моя речь, хотя и была «оригинальной», была неуместной в дни юбилея. Не могу согласиться и с таким мнением. Полагаю, что истинное чувствование великого поэта состоит именно в изучении его произведений и во всесторонней оценке его личности. Этому по мере сил я и способствовал в своем докладе и не видел надобности помнить прежде всего другого – завет Пушкина:

*Тьмы низких истин мне дороже  
Нас возвышающий обман.*

Впрочем, свою «истину» (насколько я прав в своей оценке Гоголя, судить, конечно, не мне) я ни в каком случае не могу признать «низкой». Утверждать, что Гоголь был фантаст, что, несмотря на все свои порывания к точному воспроизведению действительности, он всегда оставался мечтателем, что и в жизни он увлекался иллюзиями, – не значит унижать Гоголя. Опровергая школьное мнение, будто Гоголь был последовательный реалист, я не тень бросал на Гоголя, но только пытался осветить его образ с иной стороны.

Мысль, суждение, слово – должны быть свободны. Кажется, это довольно старое требование. От желания мешать говорить оратору свистом и стуком – недалек шаг до оправдания всякого рода цензур. Пусть каждый оценивает писателя согласно с доводами своего рассудка: требовать, чтобы все в своих оценках следовало раз выработанному шаблону, – значит остановить всякое движение научной мысли. Разумеется, я не пошел бы читать на юбилее Гоголя, если бы не ценил и не любил Гоголя как писателя. Тогда я выбрал бы другое время для того, чтобы выска-

зять свои взгляды. Но не понимаю, почему я не должен был читать в дни юбилея, потому только, что смотрю на Гоголя несколько иначе, чем другие?

Бесспорно, моя речь не была сплошным панегириком, мне приходилось указывать и на слабые стороны Гоголя. Но разве возможна правдивая оценка человека и писателя, если закрывать глаза на его слабые стороны? Невольно вспоминаются бессмертные слова городничего: «Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?». Гоголь – великий писатель, но почему же благоветь, хотя бы и на юбилее, перед каждой его строкой, перед каждым его шагом? Я по крайней мере не испытываю такой потребности «лежать то пред тем, то пред этим на брюхе». Думаю и убежден, что и о великих писателях должно говорить языком свободным, а не рабьим.

Мне остается добавить, что, согласно с самым характером речи, произносимой устно, я мог дать только эскиз, только общий очерк своего понимания Гоголя. Вместо обстоятельного доказательства своих положений я мог

лишь иллюстрировать их отдельными примерами. Печатаю я свою речь безо всяких изменений, так, как я ее произносил; восстановлено только несколько незначительных мест и второстепенных цитат, опущенных в чтении исключительно вследствие того, что заседание 27 апреля затянулось дольше, нежели то ожидалось.

Май 1909



# Испепеленный

## *К характеристике Гоголя*

I

Если бы мы пожелали определить основную черту души Гоголя, ту *faculte maitresse*[1], которая господствует и в его творчестве, и в его жизни, – мы должны были бы назвать стремление к преувеличению, к гиперболе. После критических работ В. Розанова и Д. Мережковского[2] невозможно более смотреть на Гоголя как на последовательного реалиста, в произведениях которого необыкновенно верно и точно отражена русская действительность его времени. Напротив того, Гоголь, хотя и порывался быть добросовестным бытописателем окружающей его жизни, всегда в своем творчестве оставался мечтателем, фантастом и, в сущности, воплощал в своих произведениях только идеальный мир своих видений. Как фантастические повести Гоголя, так и его реалистические поэмы – равно создания мечтателя, уединенного в своем воображении, отделенного ото всего мира

непреодолимой стеной своей грезы.

К каким бы страницам Гоголя ни обратились мы – славословит ли он родную Украину, высмеивает ли пошлость современной жизни, хочет ли ужаснуть, испугать пересказом страшных народных преданий или очаровать образом красоты, пытается ли учить, наставлять, пророчествовать, – везде видим мы крайнюю напряженность тона, преувеличения в образах, неправдоподобие изображаемых событий, исступленную неумеренность требований. Для Гоголя нет ничего среднего, обыкновенного, – он знает только безмерное и бесконечное. Если он рисует картину природы, то не может не утверждать, что перед нами что-то исключительное, божественное; если красавицу, – то непременно небывалую; если мужество, – то неслыханное, превосходящее все примеры; если чудовище, – то самое чудовищное из всех, рождавшихся в воображении человека; если ничтожество и пошлость, – то крайние, предельные, не имеющие себе подобных. Серенькая русская жизнь 30-х годов обратилась под пером Гоголя в такой апофеоз пошлости, равного которому

не может представить миру ни одна эпоха всемирной истории.

У Эдгара По есть рассказ о том, как два матроса проникли в опустелый город, постигнутый чумой[3]. Там, войдя в один дом, увидели они чудовищное общество, пировавшее за столом. Особенность участников попойки состояла в том, что у каждого была до чрезмерности развита одна какая-нибудь часть лица. У одного был непомерной величины лоб, подымавшийся над головой, как корона; у другого – невероятно огромный рот, шедший от уха до уха и открывавшийся, как страшная пропасть; у третьего – несообразно длинный нос, толстый, дряблый, спадавший, как хобот, ниже подбородка; у четвертого – безобразно отвисшие щеки, лежавшие на его плечах, как бурдюки вина, – и т. д. Все герои Гоголя напоминают эти призраки, пригрезившиеся Эдгару По, – у всех у них чудовищно, несоразмерно развита одна часть души, одна черта психологии. Создания Гоголя – смелые и страшные карикатуры, которые, только подчиняясь гипнозу великого художника, мы в течение десятилетий прини-

мали за отражение в зеркале русской действительности.

Вот перед нами уездный город, от которого «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь». Открывается занавес, и мы видим за столом у городничего обитателей этого города, его чиновников. Не ошиблись ли мы дверью и не попали ли, вместе с двумя пьяными матросами, в ужасный зал в зачумленном Лондоне Эдгара По? Не те же ли перед нами уродины, какие предстали глазам удивленных и испуганных матросов? Разве городничий Сквозник-Дмухановский, судья Ляпкин-Тяпкин, попечитель над богоугодными заведениями Земляника и все другие, с детства хорошо знакомые нам лица, не страдают тою же болезнью, как фантастические герои Эдгара По? Разве у одного из них не чудовищный лоб, у другого – не невероятный рот, у третьего – не немислимые щеки?

Прислушаемся к их речам:

– Лекарств дорогих мы не употребляем, – говорит Земляника. – Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то

и так выздоровеет.

Городничий жалуется, что от заседателя такой запах, словно он сейчас вышел из винокуренного завода.

– Это уж невозможно выгнать, – возражает судья, – он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.

Появляется Хлестаков. «Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора?» – спрашивает позднее городничий. Точно, ничего похожего. Заезжий, остановившийся в гостинице, в номере «под лестницей», не платящий по счетам, выпрашивающий себе обед, – какой же это ревизор? В уездном городе жизнь каждого человека на виду; Хлестаков не мог за две недели, что он жил в городе, не примелькаться всем на улице; однако между ним и городничим происходит такой приблизительно диалог:

Хлестаков. Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Городничий. Извините, я, право, не виноват... Позвольте мне предложить вам пере-

ехать со мною на другую квартиру.

Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?..

Городничий. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие...

Затмение, нашедшее на городничего, – сверхъестественно, ни с чем не сообразно; ничего такого в жизни не могло бы быть.

Начинается сцена лганья Хлестакова:

– Просто не говорите. На столе, например, арбуз, – в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа... В ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе: тридцать пять тысяч одних курьеров!.. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш...

В какой бы степени опьянения ни был человек, вряд ли, не сойдя с ума, может он говорить такие нелепости. Это не типическое лганье, а какое-то сверхлганье, лганье безмерное, как и все безмерно у Гоголя.

– Мне кажется, – говорит Хлестаков Землянике, – как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?

Земляника. Очень может быть.

Анна Андреевна спрашивает Хлестакова:

– Вы, верно, и в журналы помещаете?

Хлестаков. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И все случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец». И тут же в один вечер, кажется, все написал.

Хлестаков волочится за Анной Андреевной.

– Но позвольте заметить, – возражает она, – я в некотором роде... я замужем.

Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу.

«Тридцать пять тысяч курьеров», «Были вчера ниже ростом? – Очень может быть», «В один вечер все написал», «Мы удалимся под сень струй», – это все не подслушано в жизни, это – реплики, в действительности немислимые, это – пародии на действитель-

ность. Пошлости обыденного разговора сконцентрированы в диалоге гоголевских комедий, доведены до непомерных размеров, словно мы смотрим на них в сильно увеличивающее стекло.

Сцена меняется. Перед нами – другой город, тот, где есть магазин с вывеской «Иностранец Василий Федоров». Проходит ряд новых лиц, но у всех у них та же гипертрофия какой-нибудь одной стороны души. Скупость Плюшкина, грубость Собакевича, умильность Манилова, тупость Коробочки, безудержность Ноздрева, лень Тентетникова, обжорство Пестуха, – это опять: непомерный нос, несообразный рот, невероятные щеки героев Эдгара По. И все эти помещики и помещицы, которых объезжает стяжатель Чичиков со своим странным предложением, весь этот мир маниаков говорит так, как не говорят в жизни, совершает поступки, каких никто не мог бы совершить.

Чичиков предлагает Коробочке продать ему мертвых.

– Мое такое неопытное, вдовье дело, – возражает помещица. – Лучше ж я маленько по-



временю, авось понаедут купцы, да применюсь к ценам.

Чичиков торгуется с Плюшкиным.

– Почтеннейший, – сказал Чичиков, – не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы! Судовольствием заплатил бы, потому что вижу – почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия.

– А ей-богу так! Ей-богу правда! – сказал Плюшкин, – все от добродушия.

Разговаривают Чичиков и Манилов:

– Не правда ли, что губернатор препочтеннейший и прелюбезнейший человек? – спрашивает Манилов.

– Совершенная правда, – почтеннейший человек, – отвечает Чичиков.

– А вице-губернатор, не правда ли, какой милый человек?

– Очень, очень достойный человек.

– Ну, позвольте, а как вам показался полицеймейстер? Не правда ли, что очень приятный человек?

– Чрезвычайно приятный, и какой умный, какой начитанный человек!

– Ну а какого вы мнения о жене полицей-  
мейстера? Не правда ли, прелюбезнейшая  
женщина?

– О, это одна из достойнейших женщин...

Все эти разговоры – шаржи: смешная сто-  
рона человеческих отношений в них преуве-  
личена до крайности; нелепость в них доведе-  
на до какого-то культа.

Когда в городе узнают, что Чичиков скупал  
мертвые души, чиновники начинают судить  
и рядить об нем, и толки их тотчас доходят  
до последних границ вероятного. Одни гово-  
рят, что Чичиков – делатель фальшивых ас-  
сигнаций. Другие – что он хотел увезти губер-  
наторскую дочку. Третьи – что он капитан Ко-  
пейкин. «А из числа многих, в своем роде,  
сметливых предположений было, наконец,  
одно, – странно даже и сказать, – что  
не есть ли Чичиков переодетый Наполеон».  
Гоголь прибавляет, что «поверить этому чи-  
новники не поверили, а, впрочем, призадума-  
лись». Прокурор же, «пришедши домой, стал  
думать, думать и вдруг, как говорится,  
ни с того, ни с другого, умер».

В другом городе, в том, где был магазин

с вывеской «Иностранец из Лондона и Парижа», появление гоголевского героя производит путаницу еще более грандиозную. После того, как Чичикова арестовали, защитник его, юрисконсульт, стал «производить чудеса на гражданском поприще»: «губернатору дал знать стороною, что прокурор на него пишет донос; жандармскому чиновнику дал знать, что секретно проживающий чиновник пишет на него доносы; секретно проживающего чиновника уверил, что есть еще секретнейший чиновник, который на него доносит... Донос сел верхом на доносе, и пошли открываться такие дела, которых и солнце не видывало, и даже такие, которых и не было... Скандалы, соблазны и все так замешалось и сплелось вместе с историей Чичикова, с мертвыми душами, что никоим образом нельзя было понять, которое из этих дел было главнейшая чепуха... Когда стали, наконец, поступать бумаги к генерал-губернатору, бедный князь ничего не мог понять. Весьма умный и расторопный чиновник, которому поручено было сделать экстракт, чуть не сошел с ума... В одной части губернии оказался голод... В другой

части губернии расшевелились раскольники. Кто-то пропустил между ними, что народился антихрист, который и мертвым не дает покоя, скупая какие-то мертвые души. Каялись и грешили и, под видом изловить антихриста, уколошили неантихристов... В другом месте мужики взбунтовались»...

Неужели же эта удивительная революция, вызванная похождениями Чичикова, менее невероятна, чем то происшествие, что нос майора Ковалева, исчезнув с лица своего обладателя, стал разъезжать по Петербургу, одетый в мундир с золотом? Увлекаясь своим изображением общего хаоса, созданного ловким юрисконсультom, Гоголь чуть ли не готов позабыть, что все это – преувеличение, чуть ли не готов сам поверить, что Чичиков – антихрист, и в уста князя, собравшего перед отъездом чиновников, влагает слова совершенно неожиданные: «Дело в том, что пришло время нам спасти нашу землю!». Реальное от фантастического не отделено ничем в созданиях Гоголя, и невозможное в них каждую минуту способно стать возможным.

И в какой бы город, в какую бы усадьбу

ни заглянул Гоголь, везде видит он сбивающую с толку нелепость, везде встречает своих невероподобных героев. Мичман Жевакин на вопрос Арины Пантелеймоновны, зачем одолжил посещением, отвечает: «В газетах вижу объявление о чем-то. Дай-ко, думаю себе, пойду. Погода же показалась хорошею, по дороге везде травка». Федор Иванович Шпонька, когда тетушка его сватает, возражает: «Как жена? Нет-с, тетушка, сделайте милость. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать». И совершенно в тон с этими будто бы реалистическими репликами звучат нарочитые несообразности «Носа»: «Вы изволили затерять нос свой? – Так точно. – Он теперь найден. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника»... Как не поверить после этого словам Гоголя, который сам говорит: «Если бы кто видел те чудовища, которые выходили из-под пера моего вначале для меня самого, он бы содрогнулся».

Но не только в изображении пошлого

и нелепого в жизни Гоголь переходит все пределы. Это еще можно было бы объяснить сознательным приемом сатирика, стремящегося выставить осмеиваемое им в особенно смешном, в намеренно преувеличенном виде. В совершенно такие же преувеличения впадает Гоголь и тогда, когда хочет рисовать ужасное и прекрасное. Он совершенно не умеет достигать впечатления соразмерностью частей: вся сила его творчества в одном-единственном приеме: в крайнем сгущении красок. Он изображает не то, что прекрасно по отношению к другому, но непременно абсолютную красоту; не то, что страшно при данных условиях, но то, что должно быть абсолютно страшно.

Вот бьются казаки под стенами Дубно:

«Демид Попович трех заколол простых, и двух лучших шляхтичей сбил с коней. И выгнал коней далеко в поле, крича стоящим казакам перенять их. Потом вновь пробился в кучу, одного убил, другому накинул аркан на шею, привязал к седлу и поволок его по всему полю... Как стройный тополь, носился он (лях) на буланом коне своем. Двух запо-

рожцев разрубил надвое; многим отнес головы и руки и повалил казака Кобиту, вогнавши ему пулю в висок... Кукубенко, припустив коня, налетел прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что вздрогнули все близ стоявшие от нечеловеческого крика. Хотел было поворотить вдруг своего коня лях и стать ему в лицо, но не послушался конь. И достал его ружейною пулей Кукубенко. Вошла в спинные лопатки ему горячая пуля... Польстился корыстью Бородатый: нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи... И не услышал Бородатый, как налетел на него сзади красноносый хорунжий. Не к добру повела корысть казака: отскочила могучая голова и упал обезглавленный труп, далеко вокруг оросивши землю. Понеслась к вышинам суровая казачья душа, хмурясь и негодуя».

В какую эпоху совершаются эти героические деяния? – В Малороссии XVI века или в мифические времена похода под Троию? Кто это рубит врагов надвое, один одолевает пятерых, в ужас приводит всех нечеловеческим криком? – запорожцы или герои Гомера, богоподобный Диомед, сын богини Ахилл,

пастырь народов Агамемнон?[4]

Но что такое вся эпопея о Тарасе Бульбе, как не ряд гиперболических образов, где и картины Украины, и удаль казаков, и первобытность их жизни – все изображено в преувеличенном, крайне изукрашенном виде? Идет бой и «летят головы», «снопами валяются ляхи», сияет «сабельный блеск». Андрий целует «благовонные уста», «полный не на земле вкушаемых чувств». Полячка чувствует, что речами своими Андрий «разодрал на части ее сердце». «Ни крика, ни стопа» не слышно из уст Остапа при страшной казни, «даже тогда, когда стали перебивать ему на руках и ногах кости, когда ужасный хряск их послышался среди мертвой толпы». Бестрепетно стоит на костре Тарас, – и поэт восклицает: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!» – И т. под., и т. под.! История Украины только подала повод Гоголю рисовать картины какой-то героической эпохи, мечтавшей ему[5].

Впрочем, и другие герои Гоголя все чувствуют, все переживают гиперболически.



Иван в «Страшной мести» ужасает самого Бога своей ненавистью. «Страшна казнь, тобою выдуманная, человече», – говорит ему Бог. Мертвым от страха падает на землю Хома Брут в «Вии». Безмерной завистью охвачен герой «Портрета». «Размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил жизни», – говорит об нем Гоголь. На героя «Невского проспекта» бросила взгляд встречная красавица, и вот – «дыхание занялось у него в груди, все в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели; тротуар неся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз»... И даже Костанжогло, изъясняя Чичикову за ужином счастье быть помещиком, «сияет весь, как царь, в день торжественного венчания своего», причем кажется, что «как бы лучи исходят из его лица».

Сама природа у Гоголя дивно преображается, и его родная Украина становится какой-то неведомой, роскошной страной, где все превосходит обычные размеры. Все мы заучили в школе наизусть отрывок о том, как «чуден

Днепр при тихой погоде»... Но что же есть верного и точного в этом описании? похоже ли оно сколько-нибудь на реальный Днепр? «И чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру... Редкая птица долетит до середины Днепра. Пышный! Ему нет равной реки в мире... Черный лес, униженный спящими воронами, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его, хотя длиною тенью своею, – напрасно! Нет ничего в мире, что бы могло прикрыть Днепр». Какой же это Днепр? Это фантастическая река фантастической земли! Под стать ей стоят «подоблачные дубы», под стать ей летит пламя пожара «вверх под самые звезды» и гаснет «под самыми дальними небесами», под стать ей «неизмеримыми волнами» тянутся степи, о которых Гоголь восклицает: «Ничего в природе не могло быть лучше».

В той же фантастической стране своей мечты подсмотрел Гоголь и ту ночь, которую назвал украинской ночью: «Знаете ли вы украинскую ночь? О, вы не знаете украин-

ской ночи! Всмотритесь в нее: с середины неба глядит месяц; необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятней; горит и дышит он. Земля вся в серебряном свете, и чудный воздух и прохладно душен, и полон неги, и движет океан благоуханий. Недвижно, вдохновенно стали леса... Девственные чащи черемух и черешен пугливо протянули свои корни в ключевой холод... А вверху все дышит, все дивно, все торжественно. Сыплется величественный гром украинского соловья, и чудится, что и месяц заслушался его посреди неба»... Какие напряженные слова, какая театрально пышная картина! Соответствует ли она милой, но простой и скромной природе Малороссии?[6]

Но всего ярче, быть может, сказалась наклонность Гоголя к гиперболе в попытках рисовать женскую красоту. Героиня юношеского отрывка «Женщина» была так прекрасна, что «казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, облекся в видимость;

никогда сама Царица любви не была так прекрасна!». У красавицы «Невского проспекта» – «уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез; все, что остается от воспоминаний о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, – все это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Боже, какие божественные черты!». Полячка в «Тарасе Бульбе» обладала «ослепительной красотой»; позднее лишения осады не могли «помрачить чудесной красы ее», но лишь придали ей что-то «неотразимо-победоносное». У дочери сотника в «Вии» чело было «как снег, как серебро», «брови – ночь среди солнечного дня», «уста – рубины». У дочери генерала Бетрищева было такое чистое, благородное очертание лица, которого «нельзя было отыскать нигде, кроме разве только на одних древних камейках» – и т. д.

Особенно безудержно было перо Гоголя, когда он рисовал свою Аннунциату: «Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные, как уголь, тучи, нестерпимо затрепетает она целым потоком блеска: таковы очи

у албанки Аннунциаты... Как ни поворотит она сияющий снег своего лица – образ ее весь отпечатлелся в сердце... Обратится ли затылком с подобранными кверху чудесными волосами, показав сверкающую шею и красоту не виданных землею плеч, – и там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замирание в сердце... Никакой гибкой пантере не сравниться с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до античной, дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге»... Что это? описание живого человека или безудержный полет в мире небывалого и невозможного! [7]

Мы знаем, что Гоголь много работал над собиранием материалов для своих повестей. До нас дошли записные книжки Гоголя, куда он вносил свои наблюдения, меткие слова, поразившие его обороты и т. п. До нас дошли сборники малороссийских песен, составленные Гоголем. В своих письмах к родным Гоголь постоянно просил их доставлять ему всевозможные «известия о малороссиянах», собирать данные про «старовину». Но все эти

тщательно собранные материалы совершенно преображались под его пером, образы действительности разрастались одной какой-нибудь стороной, то чтобы стать чем-то «ослепительно прекрасным», то чтобы явить «излишество и множество низкого». Действительность изменялась в созданиях Гоголя, как изменился колдун «Страшной мести», приступив к волхвованию, – «нос вытянулся и повиснул над губами, рот в минуту раздался до ушей, зуб выглянул изо рта», – или как изменилась ведьма от заклятий Хомы Брута, – вместо старухи «перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами».

Гоголь сам оставил нам намек, что именно в таком направлении он всегда и вел свою работу. Так, в программе не написанной драмы из украинской старины он говорит: «Да исполнится она вся (драма) нестерпимого блеска... (Облечь ее) в поток речей неугасаемой страсти, и в самоотвержение неслыханное, дикое, нечеловечески великолепное». Точно так же в заметках к «Мертвым душам» он говорит: «Идея города – возникшая до высшей

степени пустота. Как все... приняло выражение смешного в высшей степени... Как эти соображения доходят до верха смешного». Да, Гоголь основывался на наблюдениях, на изучении, но все доводил до «высшей степени», до «верха смешного», обращал в «неслыханное» и «нечеловеческое»[8].

«Гоголь все явления и предметы рассматривал не в их действительности, но в их пределе» – так формулирует то, что мы здесь утверждаем, В. Розанов[9]. Конечно, Россия времен Гоголя не была населена теми маниаками, теми чудовищами и теми ангелами красоты, которые выступают перед нами из его повестей. Тогда жили такие же люди, как теперь, в которых смешное соединялось с благородным, красота с безобразием, героизм с ничтожеством. Их умел видеть Пушкин, изобразивший их в «Евгении Онегине», в «Повестях Белкина», в «Медном Всаднике», но Гоголь их не видел. Он сотворил свой особенный мир и своих особенных людей, развивая до последнего предела то, что в действительности находил лишь в намеке. И такова была сила его дарования, сила его творчества,

что он не только дал жизнь этим вымыслам, но сделал их как бы реальнее самой реальности, заставил ближайшие поколения забыть действительность, но помнить им созданную мечту. В течение многих лет на николаевскую Россию и на Украину мы все смотрели сквозь гоголевское стекло.



# Сноски

# 1

Основное  
(франц.).

(господствующее)

свойство

[^^^]

В. Розанов. Два этюда о Гоголе. Приложение к книге: Легенда о великом инквизиторе (1<sup>◆</sup>е изд. СПб., 1893). Д. Мережковский. Гоголь и черт (1<sup>◆</sup>е изд. М., 1906). (Прим. В. Брюсова.)

[^^^]

King Pest. (Прим. В. Брюсова.)

[^^^]

Очень вероятно, что бой Дубно и написан не столько на основании изучения малороссийской старины, сколько под влиянием перевода Гнедича «Илиады». Вспомним:

*Первый тогда Антилох поразил  
у троян бранноносца  
Храброго, между передних, Фали-  
зия ветвь, Эхепола.  
Быстро его поражает он в бляху  
косматого шлема  
И вонзает в чело: пробежало глу-  
боко внутрь кости  
Медное жало, и тьма Эхеполовы  
очи покрыла;  
Грянулся он, как великая башня,  
среди бурного боя.  
Тело упавшего за ноги царь захва-  
тил Элефенор,  
Сын Халкодонов, воинственный  
вождь крепкодушных абантов,  
И повлек из-под стрел, поспешая  
скорее с троянца  
Латы совлечь, но не долго его про-  
должалась забота:  
Влекшего труп усмотрев, крепко-*

*душный воитель Агенор,  
В бок, при наклоне его от ограды  
щита, обнаженный,  
Сулицей медной пронзил и могуче-  
го крепость разрушил...*

[^^^]

## 5

Как известно, украинские повести Гоголя подверг суровой критике с точки зрения исторической и этнографической правды П. Кулиш еще в 1861 г. Его статьи вызвали в свое время живую полемику. *(Прим. В. Брюсова.)*

[^^^]

Какая разница между гиперболическим описанием Гоголя и гармонической стройностью пушкинских стихов:

*Тиха украинская ночь.  
Прозрачно небо. Звезды блещут.  
Своей дремоты превозмочь  
Не хочет воздух. Чуть трепещут  
Сребристых тополей листья.  
Луна спокойно с высоты  
Над Белой Церковью сияет.*

У Пушкина ночь «тиха», у Гоголя она «божественная»; у Пушкина луна «спокойно сияет», у Гоголя она «посреди неба заслушалась грома соловья»; у Пушкина воздух «дремлет», у Гоголя он «полон неги и движет океан (неприменно океан!) благоуханий»; у Пушкина звезды «блещут», у Гоголя «вверху все дивно, все торжественно»; у Пушкина листья тополей «чуть трепещут», у Гоголя кусты черешен и черемух оказались «девственными чащами» и т. д. (Прим. В. Брюсова.)



В «Мертвых душах» Гоголь советует «дать отдых бедному добродетельному человеку, потому что нет писателя, который бы не ездил на нем». Как же не подумал Гоголь, что пора было дать отдых и всем красавицам, обладательницам прелестей, «не виданных землею»? (Прим. В. Брюсова.)

[^^^]

У Гоголя был еще другой способ пользоваться собранными материалами: он без меры нагромождал свои наблюдения в одном месте, как бы оглушая читателя номенклатурой. Так, описывая рабочий двор Плюшкина, он вспоминает «дерево шитое, точеное, лаженое и плетеное; бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкальники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг, коробья из тонкой гнутой осины, бураки из плетеной берестки и много всего, что идет на потребу богатой и бедной Руси». Подобно этому при посещении собачника Ноздрева Гоголь упоминает «всяких собак, и густопсовых, и чистопсовых, всех возможных цветов и мастей: муругих, черных с подпалинами, полво-пегих, муруго-пегих, красно-пегих, черноухих, сероухих». (Прим. В. Брюсова.)

[^^^]

Два этюда о Гоголе. (Прим. В. Брюсова.)

[^^^]